

Алексей Глухов. Уместность теории

(Конференция «Языки общественных наук», РАНХ, 27.10. 2012)

В самом начале своей книги 1961 г. «Между прошлым и будущим» Ханна Арендт приводит цитату из Рене Шара – «наше наследство не было нам завещано». Она весьма точно отражает отношение послевоенного поколения интеллектуалов к тому культурному багажу, который достался им от XIX столетия и который оказался совершенно непригоден для осмысления мировой катастрофы. Я возьму на себя смелость применить эту цитату к нашей эпохе, к началу третьего тысячелетия. Правда, с некоторыми оговорками.

Наше наследство также не было нам завещано – по разным причинам. Некоторые из наших интеллектуальных отцов и матерей отказались составлять завещание. Они не хотели выступать наставниками жизни, полагая, что это ограничивает свободу учеников. Арендт, Делез, Деррида ... Мы остались без наследства не потому, что наши родственники по философии нам неизвестны или пропали без вести, но потому, что они упразднили сам институт наследования. Другие властители дум решили, что процесс передачи научного багажа между поколениями не требует индивидуальной спецификации. Есть всеобщее объективное знание, пользуйтесь, как мы пользовались. «Наше наследство» не имеет никакого шанса: у нас отнимают либо «наше», либо «наследство». Ситуация, разумеется, не столь трагична, как в послевоенную эпоху, не напоминает она и фарс, который, как говорят, сопутствует всякому повторению в истории. Скорее она будит вопрос: в какой же интеллектуальной ситуации мы находимся? Сегодня нет каких-то прорывных теорий, которые приковывают к себе особое внимание, нет очевидных кризисов, которые обещали бы непременно возникновение теоретических ответов в ближайшем будущем. Мы живем в достаточно пресную эпоху, и тому есть причины.

Если оглянуться на интеллектуальный ландшафт прошедшего века, мы увидим, что он искорежен великой философской схизмой – противостоянием двух философских языков и двух логик, на которых держатся эти языки. Произошла гигантомахия, битва гигантов, которые мерялись не силой, но словом, хотя порой отличить одно от другого было невозможно. Так, Карл Поппер называл свою книгу, в которой беспощадно критикуется континентальная мысль от Платона до Хайдеггера, «личным вкладом в победу» во второй мировой войне. Тем не менее, существенно, что философское соперничество развивалось в горизонте «логического поворота», т.е. после решения о том, что путь к истине связан с особой истинной логикой (понимаемой в широком смысле всех значений греческого «логоса»). Развилка, бифуркация мысли на два конкурирующих движения, произошла после совместного поворота мыслителей обоих направлений к логосу – к логическому анализу

языка либо к интерпретации. В XX в. были развиты до совершенства две логики – логика различия и логика репрезентации – а направления мысли, которые им соответствуют можно (пусть весьма неточно) называть континентальной и аналитической философией.

Не менее существенно в этом раскладе века то, что великая схизма попадает в слепое пятно интеллектуалов. Это философское событие огромной важности, о котором почти не говорят. Конкурирующие движения мысли игнорируют друг друга. Любопытно, что родоначальник «шизанализа» Жиль Делез применяет свой концепт прежде всего к событиям микрополитического масштаба, совершенно не принимая во внимания межконтинентальную схизму в философии. («Схизма» и «шиза» – это одно и то же). Но Делез был убежден, что его концепту уготована судьба одинокого революционера на баррикадах, он не учитывал возможности, что шиза, т.е. схизма, может прийти к власти в царстве мысли и доминировать в нем на протяжении столетия.

По окончании этого столетия мы остались без наследства, но с медицинским диагнозом на руках. То, что на нас не давит необходимость пристраиваться к какой-то господствующей теории несомненное благо. У нас есть время, пусть и достаточно пресное по ощущениям, чтобы подумать, какая теория уместна в такой ситуации, когда наследие прошлого нас не обременяет в виду своей завещанности.

Один из вариантов – посмотреть на новое, на молодые амбициозные теории, увидеть в них образ будущего. Например, обратить внимание на попытки возрождения метафизического мышления в аналитической традиции или на «спекулятивный реализм» в континентальной мысли. [Однако еще важнее обратить внимание на то, что новая теория непременно предлагает нам вступить в отношения, представляет собой моральный вызов. Мы не можем знать сути этой теории (это и значит, что она новая), но с самого начала мы уже сочувствуем ей как новому, либо по тем же причинам не доверяем ее амбициям. Здесь важно оставаться конкретным, иначе философия становится резонерством по поводу некоторой абстрактной теории вообще, которая естественно не способна вызвать у нас никакого отклика.] Но я предлагаю действовать иначе. Я приведу известный пример из истории мысли, но хочу подчеркнуть, что мое рассуждение прямо связано с моментом настоящего и вопросом о том, что какая теория уместна сегодня. Понять это нам помогает не непосредственная реакция на оставленный нам интеллектуальный ландшафт. Мы остаемся привязанными к нему, но вопрос о дальнейшем движении требует внимания ко всему пройденному пути. Мой тезис состоит в том, что при таком рассмотрении можно обнаружить весьма замечательный паттерн европейской философской мысли, включающий в себя в том числе схизму XX в. Ведущий вопрос: каким могло бы быть теоретическое движение вперед из момента сейчас?

*

В начале I книги «Метафизики» Аристотель описывает эволюцию знания: все начинается с ощущения (αἴσθησις), из ощущений возникает память (μνήμη), из воспоминаний складывается опыт (ἐμπειρία), наконец, из опыта рождаются искусства (техне), а венчает эту эволюцию знание (эпистема), т.е. логос, ведающий причины и умеющий научить. Аристотель задерживается на последнем этапе, проводит различие между практическими искусствами, обслуживающими потребности людей, и свободным знанием, не связанным никакими рабскими обязательствами, существующим как бы в своем месте и времени. Аристотель указывает совершенно особое место, где возникает такое знание, – это Египет, и совершенно особое время его возникновения – это время-исключение, время свободы, схоле, что обычно переводят как «отдых», «досуг». (Схоле, «школа», имеет тот же корень, что и «эпоха».) Как школа, так и эпоха – это проявления автономии времени, «удержание своего времени», не связанного с некоторым срединным, все уравнивающим временем обычной общечеловеческой жизни. Если эпоха охватывает и подавляет обычное течение жизни, то школа, схоле, позволяет уклониться от него и спастись в своей свободе. Чистое знание возникает на свободе в особом месте и особом времени – у египетских жрецов, где процветало математическое искусство.

Но греки хвалят египтян лишь для того, чтобы подчеркнуть, что сами они ничуть не хуже. Они также претендуют на особое место в истории, они изобретают философию, и в I книге «Метафизики» Аристотель стремится показать, что лучшая философская теория – его собственная. Это весьма напоминает гегелевский рассказ о становлении абсолютного духа в истории. Недоброжелатели увидят в обоих случаях сходный элемент нескромности – первоначально масштабное полотно в итоге редуцируется до авторской подписи, как будто история человечества совершалась лишь для того, чтобы Гегель или Аристотель создали свою теорию. В таких случаях мы склонны к морализаторству: ученый должен знать меру, особенно философ, ведь, как говорят, философ отличается от мудреца именно своей скромностью. Его мысль обязана артикулироваться скорее в критическом и субверсивном модусе, не претендовать на создание «большой теории». Так рассуждает, например, Ханна Арендт, когда сравнивает Сократа или Канта, с одной стороны, с Платоном или Гегелем, с другой. В XX в. недоброжелателей у «больших теорий» появляется очень много: метафизика и диалектика становятся бранными словами, от них отказываются. Но, как сказано выше, антиметафизическое движение распадается на два широких изолированных потока – аналитическую и континентальную мысль. *Отказ от метафизики почему-то потребовалось зафиксировать сразу на двух языках.* Или – выскажем предположение – *отказ от метафизики некоторым образом и означает возникновение двух языков мысли,*

претендующих на самостоятельность. Метафизика, напротив, включает в себя оба языка либо, говоря иначе, то, что мы условно называем метафизикой, – это то самое мышление, которое существует до решения о логическом повороте, которое было принято мыслителями XX в.

Континентальные антиметафизики указывают, что не так в аристотелевской схеме. Стагирит вводит иерархию способностей. Как всякая иерархия, эта также быстро превращается в механизм подавления и репрессии: непосредственное ощущение ставится ниже воспоминания свидетелей события, но отдельное исключительное воспоминание в свою очередь тонет в массиве сведений о том, что происходит обычно или в большинстве случаев, а накопленный жизненный опыт в итоге подчиняется теоретическим положениям искусства или науки. Универсальная теория категориальной репрезентации возводится на пьедестал, индивидуальное ощущение, переживание, личный опыт, «феноменология», «непосредственная данность» - лишаются всякой ценности. Метафизической репрезентации сущего континентальная мысль противопоставляет логику «различия», позволяющую преодолеть систему и достичь свободы в эмансипирующем движении мысли по «линии убегания». Однако если мы вернемся к тексту Аристотеля, чтобы разобраться с выдвинутыми против него обвинениями, мы немедленно обнаружим, что Стагирит не менее внимателен к различию (диафора), чем его современные критики. Различие для него явно имеет значение, например, он замечает, что из всех чувств люди наиболее высоко ценят зрение, поскольку оно открывает доступ к наибольшему числу различий и тем самым к лучшему пониманию. И дальнейшее рассуждение может быть прочитано в логике различия. Это легко показать даже лингвистически: Аристотель использует сравнительные степени прилагательных: он выстраивает свою репрезентацию на основании тех различий между чувствами и памятью, между памятью и опытом и т.д., которые он с явным увлечением обнаруживает и с замечательной лаконичностью фиксирует. Как сказано выше, «метафизическое» мышление включает в себя оба языка, на которые распадается философская мысль в XX в.

Характерный паттерн европейской мысли, который можно обнаружить в ее первых образцах, в «Метафизике» (другой классический пример – платоновское «Государство») и который сохраняется до настоящего момента, – это своего рода сложный танец мысли, фигуры которого принципиально невозможно поместить в некоторую охватывающую пространственную размерность, потому что пространство впервые и создается в этом движении. Это важно подчеркнуть: фиксация фигур еще не дает повода к историцистскому предсказанию будущего. Я имею в виду здесь известное благодаря Хайдеггеру и Делезу различие пространства и места: пространство делится и распределяется, место открывается и

завоевывается. Фигуры танца европейской мысли включают оба момента: движение, в котором открывается место, сменяется движением, в котором завоеванное пространство мысли распределяется и репрезентируется. Но, как и в случае с парой пространство-место, мы не должны мыслить время только лишь как протяженность, время длительно-событийно. Темпоральная последовательность – сначала чувство, затем память, затем опыт, затем искусство и наконец знание – сопрягается в изложении Аристотеля с вторжением времени-исключения – со школой, схоле или эпохой. Однако всех этих наблюдений еще крайне мало для того, чтобы стала видна неразрывная связь с ситуацией настоящего.

Аристотель не просто предлагает текст, который можно прочитать двумя способами и тем самым как бы вовлекающий в сложное интеллектуально-игровое движение. Дело совсем не в этом, не в новом варианте постмодернистской игры, которую мы обнаруживаем у классиков. Аристотель прямо говорит, *что такое* это движение. Более того, для него это настолько первостепенно и очевидно, что он говорит об этом в первом предложении «Метафизики» и затем не перестает повторять. Все люди по природе *тянутся* к знанию: пример этого – *любовь* к чувственным ощущениям. И поэтому в частности они *предпочитают* зрение прочим чувствам. На каждом этапе последовательности, которую можно трактовать репрезентативно, т.е. как репрессивную иерархию способностей, Аристотель подчеркивает момент естественного влечения человека к знанию, т.е. реализацию его свободы. Жажда знания стимулирует восхождение по лестнице способностей, заставляет преодолевать ограничения одних способностей и открывать для себя другие, которые дают больше знания и больше различий. Не абстрактные логики мышления комбинирует между собой в некоторой интеллектуальной игре метафизическое мышление, но, во-первых, оно включает в себя эмансипирующее движение к аномальной свободе, не стесненной никакими заданными ограничениями. Это этическое движение, весьма далекое от того, чтобы считаться с моральными оценками окружающих. Аристотель создает лучшую теорию потому, что в этом его долг перед своим свободным стремлением к знанию. Это движение свободы создает для себя новое место мысли в особом времени мысли. Во-вторых, из нового места и времени-исключения начинается другое движение мысли. Между ними не причинно-следственная связь и не временная последовательность, но связь *смысловая*.

Философская схизма XX в. привела к тому, что смысл (sense) трактуется одним из двух способов: либо как производная системы, либо как внесистемная аномалия. Согласно обоим логикам, метафизика – это нон-сенс. Напротив, если мы реабилитируем метафизику по крайней мере в качестве некоторого базового паттерна европейской мысли, включающего обе логики, смысл достигается в одном случае – при контакте, т.е. в момент переключения между ними. Это момент свободного позиционирования себя в мире, переход от своей

свободы к справедливости в отношении иного и других. Аристотель не просто искажает взгляды своих предшественников или принижает роль чувственных ощущений, но воздает им должное, исходя из своего понимания справедливости. Известное место первой главы – момент авторского сомнения, когда Аристотель как бы взвешивает, в чем больше толка – в опыте или искусстве – теоретика мы скорее назовем мудрым, но на практике полезнее опыт. Аристотель не просто преодолевает опыт в трансгрессивном движении к знанию, но и воздает ему должное. И я призываю мыслить научное движение в истории как движение к справедливости, каковым оно было с момента своего зарождения, если судить хотя бы по изречению «физиолога» Анаксимандра, в котором упоминается «дике» – справедливость.

Итак, европейский паттерн философской мысли на протяжении двух тысячелетий включает два движения – движение свободы и движение справедливости. В горизонте «логического поворота» в XX в. была произведена выдающаяся попытка мыслить только в одной из этих двух логик. Возможно, *лишь благодаря этой великой схизме мы сегодня можем понять смысл философского движения в истории.* Таково наше наследство. Если мы теперь смотрим в будущее, то нам мало помогает прояснить ситуацию и возможности новой теории простой перебор существующий альтернатив или идеологические лозунги типа «сейчас не время больших теорий». «Большая теория», как и «малая теория» есть нечто бессмысленное. Напротив, обладает всем смыслом наше естественное стремление к знанию, увенчанное лучшей теорией, которая только впервые и открывает нам возможность практики справедливости.